ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛИЦО

Он жил в этом доме очень давно, без малого век. С таких незапамятных времён, что казалось, их и быть не могло. Здесь жили его родители, сестра и братья. Отсюда же их вынесли хоронить одного за другим, и до похорон гробы стояли на столе в передней комнате дома. На том самом столе, покрытом теперь драной мутной клеёнкой, где он режет хлеб и ставит кружку.

Дом, шаткий и жалкий, обнесённый спереди редким заборчиком с выбитыми «зубами», зарос крапивой и мальвами по самые окна. Крыша в углу сеней давно провалилась и в дождь сильно текла. Ступени крыльца он менял собственноручно ещё при Брежневе, тогда же и половицу в коридорчике. А теперь ступени осыпались трухой и замшели по краям, половица опять скрипела и шаталась. А тогда, давно, этот дом, поставленный его отцом на ссуду какого-то там товарищества, был крепок и весел. Тускнеющая фотография усатого товарищества много десятилетий висела на стене, и каждый гвоздь в усталом и слабом теперь теле дома был оглажен и вбит рукой отца. Место тут было не ахти какое, но людное, между двумя городскими кладбищами на окраине, близко от проезжей дороги, уходившей к реке на переправу.

За сто лет существования дома окраина города шагнула так далеко, что улица, на которой он стоял, стала считаться почти что центральной, а бывшие когда-то высотками четырёхэтажные оштукатуренные «сталинки» и кирпичная баня с правой стороны смотрелись мелкими приживалками рядом с новостройками. Новые дома с башенками и цветной облицовкой наступали всё ближе и ближе. Вокруг то и дело по ночам горел деревянный ветхий фонд, а дом-старик выживал каким-то чудом, может быть, за счёт того, что стоял в глубине большого двора. В кирпичном доме рядом с баней, на первом этаже, жила замечательная женщина Фаина Матвеевна, которая приносила хозяину-старику ино­гда котлетку, иногда супу в поскрипывающем бидоне. И он издалека,
из сеней слышал, как собака, этот приближающийся скрип чутким слухом слепого. Иногда она покупала ему хлеб и сыр, и даже колбаску, и, складывая деньги в жестянку с пенсией, которую туда отправляла другая хорошая женщина Рита, всегда громко и точно называла сумму, а он слышал, как звенит о железное дно невидимая мелочь. Он никогда не видел этих денег нового образца, их поменяли уже после того, как по­следняя попытка прооперировать глаза окончилась неудачей. Больше к нему никто не приходил.

К Тане, Татьяне Александровне, он попал обычным образом – вечером его привезла «скорая» в приёмный покой с диагнозом «сосудистый криз», потом поздно ночью перевели в отделение. Утром на столе – новенькая история болезни. Горбунов Алексей Иванович в шестой палате. Таня – лечащий врач. На пятиминутке ночные сестры, перебивая друг друга, рассказывают о подвигах Горбунова. Дедушка ночью в сумерках растерялся-потерялся. Никого не узнавал, пытался встать, уйти, туалет не нашёл, обмочился в палате. Одежда на нём жуткая, грязная и ветхая, рубаха просто развалилась. Кое-что постирала сердобольная дежурная санитарка. Надо ухаживать, а он родных никого не назвал. На истории болезни год рождения – тысяча девятьсот десятый. Регистратор в приёмном покое не решилась подсчитать, поэтому Таня сама сверху дописала, что ему девяносто восемь лет. Во-вторых, у него с собой в полиэтиленовом пакете – какие-то фотографии, бумаги, документы, а главное – двадцать тысяч, целая пачка денег! Насчёт них больше всего и разорялись дежурные. Положили в сейф, переволновались, как бы чего не вышло. Таня растянула поперек стола розовую ленту кардиограммы – хорошая. И при поступлении, и в динамике. «Упал дома, потерял сознание». Инфаркта нет. Невропатолог инсульта не нашёл. Анализы взяли утром – норма. Евгения Сергеевна – завотделением – тоже смотрит кардиограммы, перелистывает анализы, головой качает. Еле дождавшись окончания больничного завтрака, они с Таней идут знакомиться с виновником переполоха.

Горбунов в большой шестиместной палате, у правой стены. Уже вполне пришёл в себя, сориентировался, собрался. Полусидит в кровати, уцепившись одной рукой за тумбочку, а другой одёргивает и поправляет свой ветхий гардероб. Палата гудит, пятеро остальных мужиков обсуждают новенького, все с недовольством. Тесно и душно. Посреди палаты головой под стол с трудом задвинут застеленный топчан – на случай новых поступлений. Публика в «мальчуковой» палате подобралась разнообразная. Слева у окна под дорогим домашним пледом – бывший райкомных дел мастер и бесспорный лидер, коммунист Филимонов. Про себя Таня называет его Горынычем за внешнее сходство со школьным военруком, наречённым так от отчества Егорыч. Филимонова по определению ничего здесь не устраивает. Он уже выскандалил себе страшный дефицит – дополнительный матрас. Каждый день ходит к сестре-хозяйке жаловаться то на сквозняк, то на капающий кран, то на цены в буфете. Его любимые выражения: «вы должны» и «отвратительно». Его послушать, так врач должен обеспечить все, включая, например, вкусный завтрак, мягкую постель, внимательных медсестёр и даже любящих родственников. Старая партийная привычка. Пару дней назад Таня не удержалась и на требование Горыныча улучшить качество котлет в больничной столовой предложила выпекать их специально для шестой палаты у себя на дому. В нерабочее время. Горыныч ненадолго унялся, видимо, обдумывал в подробностях очередную претензию. Лежит он не впервые, но в этот раз уставшие, видимо, от воспитания дети не поторопились оплатить ему отдельную палату, поэтому самочувствие и настроение ежедневно «отвратительные».

Сейчас, при заведующей, он возмущается громче всех – зачем подселили старика! «Безобразие!» Он этого так не оставит. Таня с Евгенией Сергеевной переглядываются. Ему самому глубоко за семьдесят. Никакой силы и власти уже нет, время его ушло. Хорохорится он смешно и жалко. Его верный вассал, точнее, по слабости характера вечно сочувствующий и поддакивающий, – Семёнов. Божий одуванчик с третьим по счету инфарктом. Ему пока позволено только сидеть и кивать в такт гневным тирадам Горыныча. Следующий, в серединке, Чугунов, – соблюдает равнодушный нейтралитет. Это сорокалетний тракторист, переведённый из ЦРБ для операции на сердце. Образец оказания медицинской помощи населению. Он слегка диковат, редко бреется, потихоньку обрастая звероподобной чёрной щетиной. Говорит неразборчиво, прибавляя ко всем словам «та». «Как вы сегодня?» – « Я-та?» Таня окрестила его, за глаза, конечно, Маугли. Своё состояние он не понимает и не оценивает, положили – лежит. Надо оперировать – «так чё?». Главное развлечение – лежать и смотреть в потолок. Телевизора в палате нет, сканворды ему не по зубам. Он вообще в разговоры не встревает. Слева у двери – запойный слесарь Аникеев. Лечит аритмию, которая неизменно следует за запоем. Ему уже значительно лучше, он по сто раз на дню звонит кому-то и бегает курить на заднюю лестницу. Жена, приходящая его навещать, первым делом бесцеремонно обыскивает тумбочку, заглядывает в шкаф и под матрас. Боится, что дружки приволокут ему бутылку. Аникеев, как, пожалуй, все пьющие люди, с радостью вступает в споры и неизменно встаёт на сторону справедливости. Самому ему ничего, кроме вожделенной выписки, не нужно. Ближайший к старику Горбунову сосед – индивидуальный предприниматель Юра. Дважды в год он подтверждает в больнице свою инвалидность. Обычно просто спит целыми днями и безропотно ходит по обследованиям, сейчас же возмущается больше всех. Оказывается, новый пациент ночью случайно утащил у Юры майку и умудрился надеть вместо трусов. «Я её из Румынии привёз, ещё когда перестройка только началась, столько лет носил, как новая! А теперь чего! Дед, а дед!»

Старик сидит, будто не слышит, сохраняя вид напряжённый и даже несколько надменный. Совершенно седой, до белизны. На удивление густые волосы шапкой подняты ото лба. Глаза глубоко спрятаны в морщинистых веках, брови тоже белоснежные. Длинное костистое лицо, в котором чувствуется порода. Высокие скулы, губы крепко сжаты, крупный нос с глубоко вырезанными ноздрями. В истории болезни указано, что он почти слеп. Это видно, взгляд плохо фиксируется, один глаз мутный, неживой. Таня наклоняется, чтобы взглянуть поближе, и с удивлением понимает, что этот невероятно старый человек был когда-то рыжим! Рыжим и конопатым! В брови предательски застрял золотистый волосок, мелкой, еле заметной крапиной проступают на носу и щеках бывшие когда-то густыми веснушки.

В тысяча девятьсот десятом году, когда родился маленький Алёша Горбунов, была жива ещё семья Николая Второго, в городе недавно пустили трамвай, Зимний был просто дворцом, а Смольный – институтом. Женщины носили длинные платья, Первая мировая ещё не началась, кино было немым, а в алфавите существовала забавная буква «ять». И вот он, этот учебник российской истории, прибыл в больницу. Евгения Сергеевна устраивается для беседы, усаживается на Юрину койку, бесцеремонно отодвигая его ноги. Таня садится прямо на койку к Горбунову. Они опять переглядываются – слышит ли?

– Как вы себя чувствуете, Алексей Иванович? – Таня аккуратно берет его за руку, чтобы не напугать. – Вы не волнуйтесь. Это заведующая отделением Евгения Сергеевна, а я – Татьяна Александровна, ваш лечащий врач. Что случилось?

– Да, да. Я вас ждал, – он еще крепче хватается за тумбочку, разглаживает рубаху.

Голова стала немного кружиться давно, ест он, конечно, мало, но ему хватает, и шатало вовсе не от голода. Просто мир вдруг начал вертеться и переворачиваться, увлекая за собой комнату и кресло, в котором он сидел обычно. Очень плохо видит, только очертания, свет, тень.

– Вы, прошу покорно прощения, только лишь как два силуэта. И то, если близко.

Накануне вечером пошёл в туалет, он к сеням пристроен, и упал. И лежал, а потом его вынесли во двор и оттуда уже забрала «скорая». Он в совершенном уме и памяти. Помнит дату рождения, фамилию-имя, текущую дату. Знает, в какой он больнице, только называет её на старинный манер – «Мясниковской». Голос глуховат, но речь чёткая, правильная. Несколько даже витиеватая для ситуации. Он со смущением признаётся, что вчера был немного не в себе, не понимал, где находится.

– Я умоляю извинить мои, э-э, шатания, я вчера несколько неподобающе себя вёл (будто он перебрал вчера в ресторации «Шато-Икема»). Мне делали какие-то уколы, может быть, от этого?

Никто в палате не галдит и не смеётся, Юра перестал поминать свою футболку. Горыныч презрительно поджал губы, мол, много чести какому-то деду, но тем не менее не встревает.

– Раньше со мной никогда такого…

Деревянные стены раздвинулись и сместились, и на некоторое время тусклый свет из окошка под потолком совершенно померк. И он удивился тогда осознанности и осязаемости смерти, а это уж наверняка была смерть. Он жил так давно и одиноко, что никого, кроме неё, в гости не ждал. Немного страшил его сам процесс. Боль? Обездвиженность? Его худое тело не доставляло особых хлопот, память была ясной, чётким сознание. Окружающий мир, сведённый по причине потери зрения до метрового пространства вокруг стола в комнате, двух шагов до окна и раковины, пяти с поворотом – до кресла и колёсика радио на стене – только руку протянуть, – да вонючего холодного туалета за дверью, также не сопротивлялся ему, а подчинялся спокойно. Запахи, звуки и мутные очертания предметов были привычны, были все на своих местах. Дом и старик существовали в глубоком симбиозе и проникновении. Дом внутри сознания человека, в воспоминаниях о лучших временах, о светлых половицах, обоях, пахучей краске оконных переплётов и чьих-то молодых руках, их открывающих. И старик существовал, не покидая своего убежища, в ветшающем деревянном теле дома, мечтая когда-нибудь утром не проснуться в своей постели под бодрое пиканье «Маяка», а остаться лежать, становясь частью обстановки, стен, пола, растворяясь и уходя в землю вместе с домом.

Он лежал спокойно и тихо, а смерть всё не шла и, кажется, не собиралась вовсе. Ныл ушибленный падением бок, и приходилось сдерживать дыхание, чтобы не было так больно. Правая нога неловко подвернулась, но любая попытка изменить положение вызывала тошноту и новый приступ головокружения. Время тянулось медленно, гораздо медленней, чем обычно. Постепенно становилось понятно, что помереть здесь в ближайшее время он не сможет, а будет только слабеть от голода неопределённо долго, пока, может быть, не зайдёт Фаина Матвеевна или, того хуже, Рита с пенсией, которая была совсем недавно и явится теперь не скоро. Дверь сеней, будь она неладна, была, как обычно, заперта на крючок, ни сил выбить её, ни возможности встать и открыть у него не было. Спустя вечность ему удалось понемногу подползти к двери и подсунуть ладонь под рассохшиеся доски. Кто бы мог увидеть его отчаянную попытку в глубине крыльца, сквозь дремучий палисадник? Но чудо произошло. Еще через какой-то неведомый ему промежуток времени раздались на тропинке чьи-то шаркающие осторожные шаги, ускорившиеся потом, осторожный вопрос незнакомого голоса. Громче. Сил говорить не было. И потом, когда приехала «Скорая», у него хватило хриплого шёпота только на то, чтобы объяснить, где свёрток с документами и деньгами. Сломали старую дверь, он еле-еле успел отползти вглубь сеней. Собралось множество людей, все суетились, топали, трогали его и вертели, несли на носилках и везли. Он был ужасно благодарен всем этим людям за спасение. Он плакал в машине, прижимая к животу толстый полиэтиленовый свёрток, стыдясь и вытирая слезы грязнейшим рукавом старого пиджака. И только беспокойно было, как там дом остался без хозяина, с открытой дверью…

Один. Живёт один. Никто не помогает. Один раз испортился водопровод, они чинили с другом. Какой, господи, может быть у него друг?

– Впрочем, это было лет двадцать назад.

– А родственники?

– Родители умерли. Жена умерла. Сын умер. Я сам. Приходит соседка.

Он уверенно начал перечисление с родителей. Выяснилось, что все-таки есть какие-то давнишние знакомые жены, не родня, но близкие. Но они не заходили, кажется, несколько лет. Горбунов, хоть и слаб ужасно, но принимается горячо убеждать Таню и Евгению Сергеевну, глядя ровно между ними в пространство затаившей дыхание палаты, что надо взять, сколько нужно, из его денег, чтобы купить необходимые лекарства. Мазь – чтобы бок не болел, таблетки, чтобы не кружилась голова.

– А вы, – он чуть кивает подбородком в сторону Тани, – вы, вероятно, совсем молодая ещё девушка. И у вас коса, не правда ли? – говорит с неожиданной улыбкой, ласково и радостно.

Так и сказал – у вас по голосу коса. Тане не хватает пары лет до сорока, вряд ли это можно назвать «совсем молодостью». Она всегда модно подстрижена и уложена, но вчера как раз не было уже сил вымыть голову, поэтому утром наплела что-то действительно подобное косичке за левым ухом.

Ему хорошо здесь, уютно, тепло и чисто. Непривычно много народа, и, кажется, все о нем пекутся. Удивительно мягкая кровать, хотя низковата спинка, но можно подложить подушку. И подушка прекрасна – без комков и уплотнений. Чудная, мягчайшая подушка! Свежее бельё. Пахнет чистотой, если принюхаться, можно почувствовать еле уловимый аромат стирального порошка, давно забытый. Давным-давно у дома был широкий двор, в углу которого летом ставили чугунную печь для разных хозяйственных нужд. Под стоком крыши была вкопана громадная дождевая бочка, из которой брали воду длинным ковшом. Он всегда висел тут же, на краю бочки. Мать стирала грубым коричневым мылом, которое пахло, конечно, совсем не так, как современная химия. Ближе к забору были натянуты веревки для белья. Зимой простыни застывали до деревянного состояния, пахучие, жесткие, как пласты самого мороза, оттаивали в комнате. Ничего более чистого и свежего, кажется, не было в мире. Теперь же так же удивительно чиста была застиранная мягкая и мятая больничная простыня под ним, которую он в восхищении поглаживал ладонью.

На боку у него огромный синяк от падения. Ветхие брюки ещё влажные после стирки в приёмном покое. Ноги тощие, как две палки, правая изуродована большим шрамом – военное ранение. Кожа на спине и груди тоже вся в шрамах, шрамиках и родинках, бугорках и наслоениях времени, как кора векового дерева. Давление и сердечный ритм в полном порядке, анализы хорошие, кардиограмма – без изменений. Медсестра принесла прямо в палату рентгеновское заключение – даже ребра не сломаны, только ушиб. Диагноз его – возраст в паспорте. И зрение. Жалуется, что левый глаз совсем плох, а правый удалось прооперировать несколько лет назад. И ещё одна вещь его сильно беспокоит: во внутреннем кармане его пиджака были маникюрные ножницы. Он бы не стал волноваться, но ножницы – подарок мамы. А он не знает даже, где его пиджак. И слово «мама» с его губ слетает так же естественно, как у Таниного младшего сына.

– Пиджак надо найти, – командует она медсестре, – пошлите кого-нибудь вниз, кто его принимал?

Сестра пожимает плечами: поищем, мол, только надо ли?

А он точно помнит, что ножницы положил в карман. Раньше они лежали на столе, рядом со стопкой старых газет. И стол всплывает в памяти отчётливо, с расположенными на нём предметами. Клеёнка, прожженная в нескольких местах свечкой, где гладкая и немного липкая её поверхность под пальцами прерывается, истончается и в центре кратера ощущается теплое и живое тепло дубовой столешницы. Этому толстоногому монстру-столу, возможно, и двести лет. Под его длинной скатертью Алеша играл в лошадок и солдатиков, прятал от племянников на широкой перекладине сахарных петушков и пряники. Можно нащупать эту перекладину ногой, если придвинуться ближе. Справа в клеенке стола рваный кратер от многочисленных порезов ножами, его края махристые, и неровности – в них, бог знает, когда ещё, закатились каменистые хлебные крошки. Чашка и электрический чайник, снятый с подошвы, – подарок собеса. Пакет с хлебом и жестянка с заваркой, толстая вазочка из обливного фаянса, заполненная твердыми слипшимися карамельками. Стена над столом помнится хуже: мёртвые ходики, фотографии в шероховатых рамках, засиженные мухами до небольших иллюминаторов в центральной части. Гвоздь, на котором когда-то висел барометр, дверца буфета. Это карта его страны теперь.

А та, большая страна осталась за гранью памяти. Он и не узнал её за столько лет. И сейчас ему казалось, что он всю жизнь не выходил из дома. От этих ходиков и буфета. От клеёнки в подтёках чая и пахнущего пылью кресла.

Всю жизнь он ездил на трамвае номер восемнадцать в переплётную мастерскую, пристроенную сбоку к зданию городской типографии. Пять остановок по улицам, не менявшим названия. Возил воду, мёл пол, разносил бумагу, прибирал, чистил, потом потихоньку из большого здания типографии и трех редакций газет перебрался в пристройку. Тут было тише и спокойнее, работали человека два или три, добрый тихий старичок-мастер, помощник его – горький бессемейный пьяница Шварц. Тут Алешу научили точить ножницы и инструменты, резать кожу и картон, замешивать пахучий клей. Тут он прижился и остался на долгие годы, став потом подмастерьем, мастером и сотрудником, когда мастерская расширилась, заняв ещё две комнаты на втором этаже от закрытой редакции. Туда он доехал бы и слепой –
пять метров до крылечка с витым заборчиком, тремя ступеньками вниз и старинной кованой крышей над дверью. Там он не был уже лет тридцать, и бог весть, что теперь сталось с этими ступеньками, с этими комнатами, с его удобным верстачком в углу и стулом, обитым войлоком, и с милыми его сослуживцами – один из которых всегда оказывался пьяницей, другой инвалидом, а третий становился над Алексеем Ивановичем начальником. С тишайшей Ольгой Марковной, которую на приемке сменила Тамара Петровна. Болезненно бледная, рыхлая, с отечными толстыми ногами, она не выходила из-за своего столика с утра и до окончания рабочего дня, когда за ней заходил внук, и лишь в час обеда с трудом преодолевала два метра до двери, чтобы перевернуть табличку «Открыто» снаружи и задвинуть тугую щеколду.

В июле сорок первого Горбунов проехал на одну остановку больше до призывного пункта, располагавшегося в бывшей женской гимназии. Война покатилась впереди, а он догонял в эшелонах и грузовиках, и пешком по снегу и чернозёму. И страна в пути показалась одной длинной дорогой, хлюпающей глинистой грязью и курящейся дымной серой пылью. С замерзшими избами на обочинах севера и приземистыми мазанками на юге. В сорок втором он лежал в госпитале, раненый не тяжело, не заметив этого краткого отдыха. В сорок третьем был ранен тяжело в ногу и грудь осколками снаряда, контужен. Его еле живого выходил в госпитале старенький сутулый доктор, похожий на домового клочковатой бородой и седыми кудрявыми волосами. Пока он выздоравливал, весна стала зимой, холодом и вьюгой отболев надежду на желанный отпуск к семье. И действительно, по стечению обстоятельств, отпуска он не получил и был отправлен снова на фронт по тем же дорогам. От окраины Берлина его война отхлынула и покатилась обратно, теперь догоняя поездами по рельсам, и так навсегда осталась в памяти распутицей, пылью и хлябью, станционным кипятком и чередой застиранных усталостью, как гимнастёрки, лиц.

В сорок пятом он приехал с вокзала родного города на привычном трамвае, и на крыльце за калиткой, откуда провожала его жена Люба с косой через плечо, встречала теперь как будто незнакомая женщина в платочке, наголо обритая в больнице, после воспаления лёгких. А за её спиной по рассохшимся доскам крыльца нетерпеливо перетаптывал
ножками маленький мальчик, родившийся и выросший за войну. Его сын. И с того момента война его окончилась, и страна вновь замкнулась домом, улицей, типографией и переплётной мастерской, до той поры, пока они с Любой снова не сели в поезд и не поехали в Благовещенск. Они ехали в госпиталь к выросшему сыну, с письмом командующего частью в скудном чемоданчике. И проехав через всю страну, опять не увидели её, глядя всю дорогу в глаза друг другу, будто знали уже, что их встретит в конце пути. Там война опять вернулась к ним с гибелью сына. Хмурый майор сводил их на опрятную безликую могилу с деревянным памятником и звездочкой, не очень старательно нарисованной на занозистой доске. Чужое, незнакомое место. Кладбище было большое, ровные ряды могил, уходящие далеко вперед, тонкие жалкие березки между оград. Кресты и звезды. Сейчас, наверное, там поднялась целая роща. Майор не знал, что говорить, был вроде и официален, равнодушен, но, в то же время, казалось иногда, сам расстроен. Он вздыхал у соседней ограды, прикуривал одну от другой и стыдливо втаптывал окурки в рыжую клеклую почву. А им с женой было неловко плакать под его взглядами, лучше бы он уехал, оставил их одних тут, дал осознать. Нет, он был при исполнении, у ворот их ждала машина. В приёмной госпиталя выдали вещи. Всё, что накопил их мальчик за годы переездов по гарнизонам и военным городкам. Без семьи, без детей. И так они вернулись обратно – навсегда одни. И страна за окнами поезда снова не показалась им, погружённым в своё горе. Люба всё болела, чахла. Каждый день ходила в кирпичную церковь за парком, чудом оставленную среди новых домов, и каждый день это путешествие отнимало у неё всё больше времени и сил. Молилась и дома, перешёптываясь с иконками в буфетном углу. И не прожила пяти лет, как он отвёз её в онкологическую больницу, странно обосновавшуюся в той самой бывшей гимназии, где располагался в сорок первом призывной пункт. Долго лечили её, пробовали то и это, снова обрили голову. Люба выходила, как тогда, молодая, к дверям отделения за пакетиком домашней еды, худая, бледная. Не бледная – серая, как тень. А ему казалось, что только эти домашние его миски и плошки с неумелой снедью удерживают её на этом свете. Умерла она одна, без него, ночью на больничной койке от закупорки сосуда, и к лучшему, что не мучилась болями, не страдала.

Так он остался один с домом, теперь и без жены, и без Бога – что было ждать от Него, кроме смерти, а и ту не давал. За годы он забыл, как привычна была в доме молитва, как мать его тёмными утрами клала поклоны, бормоча за семейным буфетом, как по воскресеньям ему выдавали парадные башмаки, мыли шею и вели в церковь. Как на Пасху христосовались и стояли в очереди к батюшке святить куличи и яйца, аккуратно сложенные в круглую плетеную корзину под вышитое, жесткое от крахмала полотенце. В Бога он давно не верил, не молился и на иконы не смотрел. Только делал вид, чтобы мать не переживала. С тех пор, как мучительно и тяжело умерла любимая сестренка Машенька – единственная среди братьев.

Маша была на пять лет старше, но с самого рождения слабенькая, нездоровая. Алеша быстро догнал и обогнал её и в росте, и в подвижности. Была она не по годам худая и маленькая, какая-то бесплотная, будто ангел. С бледными тоненькими пальчиками и голубыми ноготками. Она долго не ходила, перебиралась от стула к лавке, еле переставляя ножки, или сидела, где посадят, на одеяле и играла в свои палочки и деревяшки, которые наряжала в цветные лоскутки и ниточки, представляя из них целые сцены. Когда родился Алеша, мать подкармливала её грудным молоком, и тем, вероятно, спасла. Маша понемножку стала выправляться, играть во дворе с другими ребятами. Но тихо и осторожно. Детей в доме было всегда много, они с криками носились по двору, а Маша сидела на крыльце, смотрела на них огромными своими бледно-голубыми глазами и рукодельничала. Таких искусных вышивок нигде больше Алексей Иванович за всю жизнь не видел – тут и сказочные картины были, ею же придуманные, и петухи, как на материных полотенцах, но больше и ярче, с человечьими грустными лицами, и невиданные цветы, и жар-птицы с красными крыльями и кудрявыми хвостами. Можно было сидеть тихонько часами и наблюдать, как из-под иголки рождается волшебный узор, каждый раз новый. Конечно, больше всего времени с маленьким Алешей проводила сестра. Присматривала за ним, играла, показывала картинки в книжках. Они сидели подолгу, обнявшись, под столом, в тайнике. Маша что-то все время пела, приговаривала, рассказывала. Научили её и буквам, и чтению. Именно Маша читала Алеше большую книгу сказок, где самым страшным оказался Кот-Воркот. Он был огромный злой зверь, справился и с волком и с медведем, а потом женился на Лисе-Патрикеевне. Маша прижимала большую книгу к груди, и книга эта казалась тяжелой и живой, её надо было удерживать, чтобы сказочные жители, населявшие страницы, не вырвались и не набросились на малышей, сгрудившихся при свете лампы на полу. Поверх жесткой обложки с нарисованной Ягой и избушкой выглядывала маленькая рассказчица, сама, кажется, напуганная не меньше своих слушателей. Алеша садился ближе всех, вцеплялся обеими руками в подол сестриной юбки, как будто она, такая крошечная и слабая, не выше его самого, могла защитить, победить сказочную нечисть. Развеять сумеречный этот морок могла, конечно, только мать. «А ну-тко, горошинки, молока кому?»

Машенька росла, но сил у неё не прибавлялось. До базара или до речки надо было её везти, не дошла бы. Носили её к докторам и знахаркам, носили в церковь. Кормили то салом, то травяными отварами, то булкой, но Маша всегда возвращалась на свой сундучок под окошком все такая же. Выросла по годам почти девушкой, а из детской не выходила – вышивала да в окно смотрела. А в один день и к окошку не подошла, не встала. Перенесли её на другую постель, к родителям за перегородку. Детей сначала не пускали, и Алеша мучился неизвестностью. Побежали опять за знахарками, за доктором, засветили свечи. Мать не отходила от её постели, поправляла простыни, подтыкала одеяло, шептала, причитала, обтирала влажным полотенцем, кого-то из детей ежечасно посылали сменить воду в плошке на свежую. Был у Машеньки жар, горячка, слышалось в комнате её невнятное бредовое бормотание. Потом, когда понятно стало, что жар этот не заразен, стали потихоньку позволять к ней зайти. Маша дышала тяжело, постанывала и говорить не стала даже с Алешей, не повернула головы, не узнала. Личико её стало совсем голубое, как у сказочной феи, с блестящими каплями пота на выпуклом лбу, глаза закрыты, худенькие плечики тонули в подушках, изредка оттуда выгибалось бледное синюшное горло, в нем хлюпало и клокотало, будто не могло продышать сквозь воду. Страшно было оставаться с ней одному – это не Машенька, не она!

Вот в те страшные дни мать и продала соседке давнюю их кормилицу и драгоценность, немецкую швейную машинку, чтобы вызвать университетского профессора – седого господина в очках, такого высокого и полного, что был он выше всех в скорчившейся от горя семье и пригибался у двери. Он приходил раза два или три с большим чемоданчиком, громко и весело разговаривал, и на какое-то время показалось, что сейчас он достанет что-нибудь волшебное из своего саквояжа, и Машенька снова усядется с пяльцами под открытое окно. А окно меж тем закрыли плотно и занавесили, и важный профессор уже не посылал в аптеку и лавочку, а только говорил, как она безнадежна. Уговаривал. В конце и денег не брал, и просил не звать, а мать всё посылала с записками. Приехал ещё только раз, когда сестричка уже умерла и лежала, как белая нарядная кукла в маленьком гробике, а личико было сморщенное, старушечье, незнакомое, а сложенные на груди ручки – белее сорочки с кружевами, в которую её нарядили. Алеша все ходил за занавеску проверить – нет ли там, на кровати, его Машеньки, так была эта, мертвая, на неё не похожа. Профессор приехал на большой лошади с телегой, чтобы её забрать к себе в лечебницу. Долго разговаривал с отцом и матерью в кухне, прикрыв дверь, а деньги уже сам принес. Но Машу ему не отдали. Свезли на кладбище, и больше уж Алеша с ней не увиделся, и больше уж он не был никогда младшим братиком. Стала другая жизнь, взрослая, горькая, где не нужен стал Бог, мерцающий свечками, бесполезный, бессильный, тоскливо обитающий только в материной спальне.

Но Любиных иконок много позже Алексей Иванович не выбросил, переложил газетами в дальнем углу шкафа. Милая женщина – подруга жены Вера, с двумя взрослыми дочками, прибившаяся было на его одиночество, не прижилась, съехала. Оставила. Потом, кажется, умерла. Приходили редко две её дочки. Взрослели, старели. Потом он уже плохо видел и запутался, кто есть кто. Всегда они приезжали по двое –
старая и молодая, две женщины. Вероятно, где-то в доме был записан их адрес. Возможно, что и Фаина Матвеевна как-то была причастна, что-то записывала на всякий случай, понятно, на какой.

– Алексей Иванович, вы подумайте, как нам сообщить и кому, что вы в больнице? Из собеса к вам никогда не присылали помощь?

– Была, да, два или три раза. Но, знаете, разные люди. Женщины. Одна такая бойкая, настырная…Но она, вы знаете, всё прибирала. Я потом после неё ничего не мог найти, она сдвигала вещи, не так ставила. И хотела раз в неделю приходить. Я её отправил, сказал, что не надо, родственники приезжают.

– Ну а продукты?

– Всё Фаина Матвеевна, мой ангел-хранитель. Всё она.

– А её телефон вы знаете, адрес?

– Телефон – нет. Как я мог ей звонить? У меня же нет ни аппарата, ни проводов к нему. Хотели как-то поставить, как ветерану войны. Приходили, смотрели. Вероятно, это было лет десять назад. Больше не пришли. И ладно, мне и тогда уже было некому звонить!

Номер дома он помнит, улицу – а как же! Но вот квартиру? Первый этаж, направо. Был, однажды был, но давно. И, бога ради, не спрашивайте, когда точно это было.

Таня поневоле перенимает эту светскую его манеру, мягкую, всю в реверансах и поклонах.

– Ну, Алексей Иванович, помилуйте, а «скорую помощь»?

Он вздыхает. Тон его не меняется, но по щеке, медленно преодолевая расселины морщин, стекает слеза. Плачет живой глаз, тот, который ещё видит. Старик машинально протирает щеку тыльной стороной ладони. Длинные пальцы его дрожат.

– Ну, вы же видите, я человек не очень молодой. Разве я смел предположить, что она понадобится? Что меня будут лечить...

Евгения Сергеевна шмыгает носом. Обе они выходят из палаты, потому что продолжать сейчас обход почему-то очень трудно. Невозможно. Выслушивать сутяжные потуги Горыныча, пугать стетоскопом дикого Маугли, мерить давление Юре. Всё чушь, глупость. И точно, едва за ними закрывается дверь, Горыныч бросается воспитывать, заводит свою привычную нудную «песнь функционера»: «Разве можно отказываться от собеса? Государство даёт вам помощь…» И так далее. Неисправим.

Они не помогали, а действительно, только мешали. Несколько женщин, слившихся в один собирательный образ, далеко не дружелюбный. Обычно они сразу уточняли, полностью ли он слепой. По-хозяйски ходили по дому, хлопали дверцами шкафов, удивлялись грязи и запущенности. Возмущались. Одна дама больше всего стремилась обязательно вымыть окна и выкинуть хлам из комнаты. «Это ж надо – хлам и рухлядь! Это ж никакие лёгкие здесь не смогут дышать. Мы вас выведем в палисадник продышаться, а сами будем красоту наводить!» Тогда он впервые напугался. Этого напористого энергичного голоса, покровительственного тона, по мере разговора приобретающего всё более и более развязный характер. «Ну вот, деда, ты на воздухе посидишь, да, мой сладкий? А у нас субботник будет…» Особенно неприятно было это её жизнерадостное «мы». На следующий день с ней вместе явился пахнущий дешевым куревом и перегаром мужик. Он молча топал по комнатам, мокро кашлял и потягивал носом. И где-то там, в глубине давно не видимой комнаты, они оба хлопали дверцами и скрипели ящиками. Что было у него брать? Сверток с деньгами и документами он перепрятал в средний ящик комода за спинкой кресла, завалил сверху хламом – ключи, пробки, старые ложки, проволочки. Приятные на ощупь, вызывающие в памяти удивительно яркие, достоверные картинки. Он любил иногда перебирать глупый этот хлам, пропускать между пальцами колкие или округлые мелочи, держать в ладони.

Крошечная серебряная ложечка от какого-то столового прибора, возможно, солонки. Соль в доме хранилась в круглом деревянном коробе с крышкой. Стояла она у печи для готовки, а на стол к кушанью из неё насыпали в блюдце. Ложечку стащили у кого-то ушлые братья-племянники, погодки брата Дмитрия, оставившего тут в доме семью. Раз мальчишки бросили ложечку во дворе, на дощечках у крыльца, заигрались. Алеша, который их бешеные игры наблюдал только со стороны, тотчас подобрал и спрятал к себе под стол на перекладину. Хватились, да не нашли, а он молчал – не знаю, не видел. Ложечка завораживала, поражала изяществом: идеально круглая, отполированная кристаллами крупной соли до тонкости, до сияния, глубокая черпалка и плетеная ручка с маковкой на конце. Алеша дожидался, пока все расходились из комнат, забирался под скатерть к своей драгоценности, любовался ею в полумраке – жечь спички и свечи под столом ему было строго запрещено. Охранял он сокровище свое истово, много
раз перепрятывал, глубже под столешницу в щель. Страшно было, что племянники обнаружат свою пропажу в его логовище – поколотят. Стыдно. Когда-то, видимо, она оттуда перекочевала в комод. Может быть, когда мальчики выросли и уехали. Или умерли, или канули куда-то. Куда? В каком году…

Этажом выше, в верхнем ящике, упакованные в старые пакеты и газеты, прикрытые газовой книжкой и документами на новый электрический счетчик, организованный Фаиной Матвеевной, лежали коробочки с медалями. Были ещё ценные книги, прекрасно изданные, старинные сказки Гауфа на немецком языке, доставшиеся ему странным образом, по стечению странных же обстоятельств, и не вместе, а с промежутком лет в десять-двадцать. В каком-то из шкафов лежали они, ожидая теперь уже нового хозяина, в коробках с тряпьем, упакованные и много раз обернутые тканью, газетами и мешковиной. Столько раз примерялась к ним Люба – продать. Просила перед смертью, чтобы поставить памятник на кладбище, устроить могилу сына в том далеком городе. Не хотел он и не собрался, и к Любе на кладбище не ходил. Никогда. Простенькие иконки её сорок лет тлели на дне чемодана в шкафу. Так –
дощечки да картонки, никакой ценности в них не было. Старинная же мамина икона в тёмном окладе, неотделимая от дома, была прибита у входа за шкафом, ликом к его фанерной спинке. Сбоку ещё висело пальто, с другой стороны шкаф упирался в угол комнаты, и шансов обнаружить Богородицу у непрошеных гостей было мало.

В этот же день Таня с Евгенией Сергеевной вытащили из сейфа в кабинете старшей медсестры толстый сверток с призрачными богатствами Горбунова. Громкую тяжелую мелочь в жестяной коробке из-под чая древнего вида, со стершимися слонами и буквами на крышке. Советские копеечки, двухкопеечные монетки и гривенники. Крупные двадцатки, рубли с профилем Ленина. Ух ты! Современные рубли и десятки. Бумажные деньги – действительно, приличная сумма – были завернуты частью в плотную цветную рекламу пенсионного фонда, а частью – в двойной тетрадный лист в клетку, на котором карандашом велись, вероятно, кассиршей, разносившей пенсию, аккуратные расчеты. Не понятно, для кого? Возможно, она писала и диктовала громко, чтобы слепой Горбунов запомнил эти цифры и одобрил сдачу. Были тут в свертке и трамвайные билеты, и неиспользованные талоны по три копейки. Квитанция из химчистки – одеяло одно, ватное, одиннадцатого июня 1974 года. Какие-то ещё бумаги и квитанции с неразличимыми фиолетовыми печатями. Удостоверение инвалида и пенсионное Евгения Сергеевна отложила. Свидетельство о смерти Горбуновой Любови Павловны. Тонкие письма в желтоватых конвертах с плотными проштампованными марками в уголках: Дорогие папа и мама… извините, что долго не писал, но на той неделе перебросили нас на другой участок… идут дожди… как там, мама?.. ваш сын, старший лейтенант Горбунов Константин. Черно-белые фотокарточки сына, сложенные в один конверт, видимо, те, которые он присылал издалека: юноша и взрослый, коротко стриженый, в военной форме, длинным лицом с крупными чертами так похожий на отца. В отдельном конверте один снимок, подкрашенный в фотоателье, «постановочный»: на пеньке среди фотоберез. Напряженная поза, диковатый взгляд. Это, наверное, называлось «сняться на карточку для родителей». Ещё письмо, истлевшее, серо-желтое без линеек, написанное блеклыми чернилами, дырявое на сгибах и слежавшееся, слипшееся, видно, долго не открывали его. Первые и заглавные буквы были завитые, плохо узнаваемые. Почерк мелкий и орфография старинная с ерами и ятями. «Добрый день Вам, как получите это письмо, папаша Иван Тимофеевич и мамаша Дарья Петровна! Привет наш и Поклон! И многие лета здравствовать! Жене моей Ирине и сыновьям Кириллу и Степушке, братьям Константину, Николаю и Алексею и сестре Марии. Сердечный поклон…» Разогнуть страницу было невозможно. Отдельной стопкой лежали ещё фотографии. Женщины и мужчины, барышня у столика с букетом в вазе. Три молодых человека на бревне. Малышка в платьице и чепчике в глубине большого кресла. Коричневатые старинные снимки. «Фотограф Ляпицкий» Старушка в платке на крыльце дома. Дети кучкой. Где-то среди них Алеша Горбунов. Крепкая девушка с косой в полосатом платье на скамеечке под деревом. Свадебная, вероятно, – молодой Горбунов в пиджаке и невеста, та самая, с косой, только платье другое. Искусственные цветы в волосах. Оба напуганные, напряженные, нарядные. Сверху все эти снимки были завернуты в выцветшую вышивку крестом. Петух и кот на ней сидели обнявшись. Под крылом петуха угадывалась балалайка –
там была опаленная по краям дырочка, наверное, от утюга. Рядом с котом стоял короб с крупными грибами, вокруг васильки и маки, розы и ещё какие-то цветы с ярко-желтыми серединками. Желтая нитка вообще на всей вышивке была более качественная и выцвела меньше. Никто не узнает уже, кто эти люди на фотографиях, кто выдумал и вышил полосатого кота с синими глазами, никто не прочтет старое письмо. Горбунов не видит и не объяснит, вероятно, по памяти. И кому дальше нужны будут эти стертые лица, платья, шали, студия Ляпицкого, сто лет назад закрытая, где истлели цветы в гнутой вазочке на круглом столике с одной ножкой, на который облокачивалась тогда некрасивая носатая барышня в низко натянутой шляпе?

Таня помнила, как первый раз ей показали старую бабушкину фотографию. «Это кто, Танюш, угадай?» На заднем плане виднелись заборчики и белые деревенские домишки с низкими крышами. Впереди на лужайке в траве сидела белокурая растрепанная девочка с улыбкой в вышиванке и широкой юбке, расправленной кругом. Чуть сзади замер худой долговязый мальчишка постарше в коротковатой белой рубахе, утонувший ногами в высокой луговой траве и цветах. Вероятно, ему велели остановиться там, чтобы сфотографировать одну девочку. «Это же я! Я? Только где это?» Точно такая же вышиванка была и у Тани, она в ней ездила в пионерский лагерь. «Это бабушка Женя, Танюш, а это – её брат, твой двоюродный дед Минька. Помнишь его?»

Это был тот самый первый момент, когда Таня почувствовала глубину и длину жизни. Чувство было острым и внезапным, как озарение; возможно, из-за удивительного внешнего сходства с бабушкой, и минута эта запомнилась навсегда. Таня стояла на дачной веранде, летом, с фотографией в руке. Было жарко, длинный стол был заставлен тазами с ранними яблоками и ягодами – готовились их чистить на варенье. Тут было всегда удобно и прохладно, на этой стороне дома солнце было скрыто соснами, в беспорядке росшими на участке вокруг дома. За оврагом сквозь них просвечивала далекая синяя гладь Волги, и видны были полоски желтых пляжей на той стороне. Всё было счастливо привычно – летняя дача. Звуки покоя и детства – гул моторки, скрип качелей, отдающие эхом от горы за домом разговоры соседей. Одно было страшно Тане – бабушка Женя, вечная, неотделимая от дачи,
старенькая Ба, сидящая сейчас в своем кресле под уличным градусником с перегнутым «Новым миром» на коленях и дегустационным ножом в руке, это она, она была на той фотографии девочкой с льняными завитками на висках, улыбающаяся, красивая. Маленькая. Младше Тани. А еще раньше, как же иначе, она лежала в кроватке совсем крошкой, в распашонке или платьице, а тот мальчик, двоюродный дед, заглядывал с удивлением внутрь: «Мам, какая она маленькая, посмотри! И ножки, и пальчики!» – «Да, Минька, она такая, наша Журочка. Но она подрастет, станет взрослой, станет с тобой играть, ты её будешь учить, ты старше…»

Страшно, страшно. Таня вся покрылась мурашками, замерзла. А взрослые ничего не замечали. Тетя взвешивала сахарный песок, дядя перебирал блесны, сидя на ступеньках. Двоюродные сестры нарядили кота в кукольное платье и катали его в гамаке. «Ну, а вот это что, попробуйте?» – спрашивала мама, подавая очередное яблоко из мокрого развала на столе. «Это? – бабушка отрезает крошечный кусочек, обстоятельно снимает кожицу тонкой полоской, откусывает. – Нет, Наташа, это папировка. Её куда в варенье, её только есть надо. И вообще, вы знаете, надо обрезать её, она в этом году так разрослась, а яблоки бесполезные какие-то. Сейчас жесткие, а потом сразу как вата. Вон то мне дайте, это розовый налив. А коричное надо на еду оставить… Танюша, посмотри, сколько сейчас градусов?» Всё шло, как шло всегда. Варенье, погода, «утреннее купание короткое», поездки на Волгу – бабушка в белой панаме, под черным дождевым зонтом от солнца. Долгие обеды на веранде, долгий чай за разговорами. К чаю полагался сметанный пирог, сготовленный на газу в сковороде «Чудо». Тут же на веранде по строгой очередности младшее поколение мыло в тазах посуду, а у взрослых чай плавно перетекал в ужин, ужин в посиделки за тем же столом. Поздно ночью приезжал из города папа, обязательно уже было темно, последние розовые и багровые языки за соснами проваливались в реку, зажигали свет, где-то на турбазах играла музыка –
начинались вечерние танцы. Наконец, где-то далеко слышался рык двигателя, мелькал свет фар. Все ждали, ждала своего сына бабушка, всегда излишне волнуясь, что служило многие годы поводом для привычных семейных шуток. Всё это было Таниной жизнью, детством, счастливым настоящим, обещавшим не менее радостное будущее. Градусник измерял температуру в тени, под ним в кресле сидела Ба. Читала, волновалась, что не едет папа, беседовала с Таней и неумело играла с ней в дурака, всегда поддаваясь. И невероятным казалось то, что Ба была той девочкой, и то, что Таня вырастет и состарится, став когда-нибудь бабушкой.

В палате Горбунов прижился. Прижился счастливо, пребывая в странном блаженном состоянии, воспринимая себя не как больного, но напротив, как неожиданно выздоровевшего. Вокруг были люди, и он опять, как давно, в старом своем доме, жил среди них в их суете и ежедневном движении-копошении. Окруженный разнообразными звуками и событиями, которых много лет был лишен. Ночь спал он урывками, коротко и беспокойно, но проснувшись в густой темноте, слышал множество живых, забытых теперь людских звуков. Храп, кашель, сонное бормотание, скрип кроватей. То и дело кто-то выходил в туалет, открывалась и закрывалась дверь – мелькал мутный и призрачный огонек света дежурной лампочки из коридора. Три ночи подряд мучился сердечными болями толстый брюзга-коммунист, днем изводивший всех разговорами на идейные темы. Критиковавший всех и всё окружающее. Не было, кажется, ни малейшей детали в этом мире, что устроила бы его полностью. В ночное время он громогласно требовал ничуть не меньше внимания, чем при свете дня. Приходили медсестры, всюду включался свет. Накачивали со знакомым свистом манжету прибора для измерения давления, уговаривали и успокаивали. Ругали. Затем являлись дежурные врачи, и всё повторялось вновь. Приносили капельницу, уколы. Алексей Иванович ждал с нетерпением продолжения. Капризный пациент охал и стонал, поминутно нажимал кнопку вызова, жаловался сестре, что капает медленно, а потом, наоборот, быстрее положенного. К утру все затихало, старик на своей койке в углу затихал с некоторым сожалением, что спектакль окончен. Но засыпал он на этот раз глубоко и по-детски спокойно.

Будила бодрым голосом медсестра: «Градусник, Горбунов! Деда, просыпаемся». Где и кто ещё мог назвать его дедом? Та сестра, что постарше и подобрее, говорила время. «Шесть часов, берем температурку!» Он хватал невпопад воздух, нащупывая гладкую прохладную и влажную палочку термометра. «Куда, вот, вот он! Ставь аккуратно, не урони!» Он с трепетом просовывал градусник за отворот пижамной рубахи, которую ему организовали в отделении, держал, прижимая к тощему боку рукой. Никак нельзя было его выронить! Прислушивался к звукам палаты. Вот звякнуло у соседа, значит, можно вынуть и ему – очень осторожно, не отнимая локтя, опять нащупывал он неверными пальцами правой руки гладкий, но уже теплый градусник и, наткнувшись тыльной стороной ладони на поверхность столешницы, бережно складывал. Один раз все-таки уронил, но по звуку сразу с облегчением понял, что не разбил.

В половине девятого приносили кашу. Юра кормил его с ложки. Первый раз они заспорили с санитаркой, она настаивала, хотела сама, Юра возражал и победил. Горбунову казалось, что он видит эту ложку, дешевую алюминиевую, с зазубриной на плоской ручке, которую потом мыли у раковины и складывали на тумбочку. Его ложку! До следующей еды. Юра кормил осторожно, не торопился, отматывал туалетной бумаги, оказавшейся тут же на тумбочке, и протирал подбородок, наверное, у него дома был маленький ребенок. Аникеев и Чугунов сажали на подушки, поднимали, натягивали простыни, могли и утку подать. «Иваныч, Иваныч! Дед! Чего возишься? На горшок пойдем?» Удивительные, прекрасные люди – думал о них в своей темноте Алексей Иванович. Добрейший Юра, только бы его не выписали. И тут же спохватывался – нет-нет, здоровья ему, пусть идет домой.

Они с Машенькой были последыши, он, Алеша, самый младший, которого уже не ждали. Старшие три брата умерли младенцами задолго до Алеши. Следующие четверо были много старше. Дмитрий – взрослый семейный мужик к рождению Маши. Бориса отправили учиться на инженера в Москву, к родственникам, где он помер от чахотки, не доучившись. Николай и Костя, друг за другом, уже вовсю гуляли с девками и пили водку, когда Алеша ещё бегал в одной рубашке и играл под столом в свои смешные сокровища. Мать оставляла на ночь кашу или щи в чугунке. Ставила на лавку у печки и ещё сверху укутывала вытертым лоскутным одеялком, чтоб не остыла – вернутся и поедят. Они вваливались поздно ночью, сопя и толкаясь, переругиваясь шепотом и глотая смех. Оттого, что хотели они войти незаметно и тихо, шуму, кажется, производилось ещё больше. С человечьим усталым стоном сдувалась поставленная у двери гармонь. Высокий и широкий в плечах, Константин задевал притолоку и бранился. Грохотали узкие щегольские сапоги, никак не хотели сниматься с разбитых за длинный день ног. Что-то падало с вешалки, звякал ковш о ведро с водой, опрокидывался табурет. Потом они быстро ели, сталкиваясь ложками и переговариваясь, то громче – забывшись, то переходя на неслышный почти шепот, после гневного скрипа родительской кровати за стеной. Алеша, переехавший уже тогда из люльки за занавеской на печь, свешивался, проснувшись, и с удовольствием наблюдал веселую ночную возню братьев. Иногда они замечали, что он не спит, тормошили, щекотали, тянули за уши и стаскивали вниз. Он отбивался, уворачивался, отползал глубже к стенке, но было невозможно их перебороть – длинноруких, сильных и пьяных его братьев, кроме того, это было так весело – есть с ними кашу из чугунка ночью большой взрослой ложкой, переглядываясь, фыркая и смеясь от каждого собственного движения и звука. «Глупые рожи!» –
беззлобно бранилась утром мать, прибирая и подбирая за ними вещи, быстро и ловко приводя в порядок растерзанную за ночь кухню. «Рожи этакие!»

Он не помнил их лиц. Только запах табака, острого пота и сапог, водочного перегара и дыма. У Николая были жесткие усы, за которые можно было дернуть в игре, которые щекотали и кололи шею: «Вот Рыжика съем сейчас!» Костя сажал на спину и катал по кухне, тогда надо было пригибаться низко-низко, чтобы не расшибиться о потолочные балки. Братнина рубаха на спине была горячей и мокрой от пота, под ней перекатывались и сжимались живые твердые мышцы. Он был лучше всех, Константин. Самый смелый, самый сильный, громкий и веселый из семьи.

Он не воевал, работал на железной дороге. Там его и убили, глупо и страшно – проломили голову. Привезли на телеге, на куске окровавленной рогожи, и положили во дворе на траву. Машенька с Алешей боялись выйти, был он неузнаваем и страшен. Весь в черной густой крови, в рваной рубашке. Голову с развороченной скулой и вывернутым страшным глазом сразу покрыли полотенцем. На дворе в полном молчании, как слепые, не встречаясь и не сталкиваясь, а монотонно пошатываясь, ходили мать и молодая жена Константина – Оля. Вся расхристанная, растрепанная, с большим круглым животом, перемазанным его кровью. Алеша и Машенька, трясясь от страха, подползали к открытому окну и выглядывали. Долго смотреть не доставало сил. За затворенными плотно воротами фыркала и переступала лошадь, на которой привезли мертвого. Там собирались люди, много людей. Константина многие тут знали и любили. Товарищи с железки, где он работал, соседи, у которых он играл на гармошке. Раз в неделю он отмывал над тазом мазут и копоть с рук и лица, приглаживал мокрыми ладонями непослушные кудри и, к недовольству беременной Ольги, уходил с гармонью на очередные посиделки. Ни звука из-за ворот не раздавалось, это было страшнее всего. Только хлопало на веревке бельё, и шаркала старыми ботами мать.

За год до этого Алеша с Машенькой также смотрели из окна, только Константин тогда сидел за накрытым столом с Ольгой. Нарядный и красный. Все смеялись, чокались, перекрикивая друг друга. Белье было снято, двор прибран, а веревки свернуты, чтобы все убрались. Тогда все двери и окна были распахнуты, развевались новые белые занавески с Машиными вышивками, играла музыка. Отец, напившись пьяным, не безобразничал, как бывало, а тоже играл на гармони и пробовал на балалайке. Кто ж мог тогда подумать, что на следующее лето все закроют и завесят, а люди, пущенные наконец через ворота во двор, будут тут плакать и выть, и пить тот же самогон, который остался, казалось, со свадьбы? Константин был первым.

За ним последовала Машенька, ангел-Машенька. Её смерть была страшнее всего, горше даже смерти сына многими годами позже. За ней отец, будто угас вслед за дочерью. Разом из ещё работающего мужика стал стариком, поседел весь, и бородой и волосами, со спины его было не узнать. Все тяжелее ходил по дому вечером, после работы ложился в постель, бывало, и поесть у него не было сил. Мать садилась рядом, кормила с ложки как маленького. Уговаривала, предлагая свое скудное угощение: «А холодного молочка? Хлебца? Вот пирожка, ну хоть кусочек, Иван Тимофеич, хоть глоток». Пил водку он редко, напивался и того реже, а тут совсем перестал, просился в церковь, да все ближние позакрывали. Позаколачивали. Одну вовсе разрушили. Оставалась только далеко, куда надо было ехать на лошади или на конке. Не добраться. Раза два мать собирала его в больницу. Строгого, грустного, какого-то чужого будто, молчаливого. С детьми он был строг и суров одинаково, дети его боялись, хоть никого разу пальцем он не тронул, а такого тихого – ещё больше. Умер он на работе, и привезли его также в дом на телеге. Положили на стол. Рассадили окаменевших детей у стены на лавке, пока мать бегала за соседками да за подмогой.

Что же это были за дети? Алексей Иванович не знал и не помнил. Люлька за занавеской никогда не пустовала, на печке воевали из-за одеял, путали валенки зимой. Внуки и племянники, чьи-то родственники, деревенская родня. Кто-то из старших девочек качал люльку, таскал малых на руках, за столом толкались на лавках – не хватало места. А со смерти Константина будто стали они уходить куда-то, пропадать, исчезать. Дом становился ночами пустым и темным. Никто не храпел, не вскрикивал, не возился, как нынче тут в больничной палате, и не вздыхал. Не шептали на печке, не топотали ночью босые пятки через кухню на двор или к бадейке – попить. Не жужжали пружины родительской постели, мама спала тихо и, кажется, совсем не дыша, на спине, уложив вдоль худого, исчезающего под ровным одеялом тела усталые руки. Черная пора горя и слез пошла у Горбуновых.

Ольга умерла родами, и младенца не выходили. Это Алеша узнал позже, а тогда будто и она исчезла тоже, вслед за мужем. Старший брат Дмитрий не вернулся с Первой войны. Писал и перестал. Исчез, и не было никакой возможности узнать, как его не стало. Мать сидела ночами, жгла лампу, читала его письма, шевеля губами. То одно, то другое. Складывала и перемещала их на столе, как карты, будто они могли дать ответ – где? Жена Дмитрия забрала детей и уехала к родным. И не увиделись никогда больше, и стерлись из памяти тоже их лица и имена. Дольше всех в доме пробыл самый скрытный и молчаливый – Николай.

Он оставался у них главным мужчиной в доме, единственным взрослым мужчиной, несмотря на частые отъезды его и работу дотемна. «Вот Николай Иваныч придет, – строжила мать детишек, – он вам задаст!» Приходил он поздно ночью, часто не один, а с другими, с товарищами. И слово «товарищ» тогда стало другим совсем, не просто «друг»,
как в Алешином детстве. Николай заходил всегда первым, оставив гостей во дворе, где они стояли с папиросами, негромко переговариваясь. Ждали. С печки на кухне выгоняли детишек в комнаты, за перегородку. Николай отмахивался от материных щей или каши, специально ему оставленной. Еду «товарищи» приносили с собой. Дверь закрывали плотно, жгли свет иногда до утра, но ни самогону, ни песен не было, только разговоры и разговоры. Иконы и лампадку из переднего угла убрали. Мать не перечила, не плакала, послушно унесла к себе. Стену чисто отскребли и отмыли от многолетней копоти и мух, там стало непривычно чисто и голо. Перегородку в комнате перенесли тоже, и в бывшей просторной родительской спальне теперь помещались только кровать, табурет и комод, на который мать поставила поредевший свой иконостас и маленькую свечечку на отбитом блюдце. И сама она съежилась, сгорбилась, становилась она все тише и незаметнее, голоса не поднимала, хлопотала тихонько с рассвета до ночи, шаркая непослушной правой ногой, которая в холодные дни совсем у неё не слушалась и не сгибалась. Алеша с удивлением заметил, что стал он и выше, и больше её. Большие, богатые мамины волосы теперь легко складывались в маленькую шишечку на затылке под платком. Плечи из полных и крепких стали остренькими, птичьими, а жесткие шершавые ладони с узловатыми искривленными пальцами мог он полностью закрыть своей длинной и крупной граблей. «Отцова кость, длинная, крепкая».

Первый раз мать спрятала Богородицу, когда громили соседнюю улицу с еврейскими лавочками. Не было уже тогда ни отца, ни Константина, ни Машеньки, а детишек каких-то опять целый дом, и всех спустили в погреб. Алексея засунули с ними, чтоб не боялись, и чтобы сам он не удрал, куда не надо. Свечи не дали. Кое-какие пожитки, чугунок с кашей, одеяло – холодно там было, роздали, кому что, а икону, замотанную в платок и холстину поверх, мать сама засунула за пустые бочки из-под солений в углу. Потом, когда все улеглось, опять её вынули, но в передней комнате она уже тогда не висела. Еще до Николаевой «чистки». Мать поставила её у себя в спальне и убирала в шкаф, чуть затопают на крыльце или в окошко стукнут. Боялась – унесут, отнимут. Икона была очень старая, в дорогом окладе, ещё от прабабки доставшаяся. Её потерять было никак нельзя.

За шкаф же Богородицу перевесили, когда брата Николая расстреляли в Москве. Его уж год не было, или больше, мать уже отплакала все слезы и по нему, и по его семейству. Такого, каким он уезжал, – взрослого, строгого, в кожанке с ремнем, – Алексей Иванович не помнил. Помнил того, молодого, растрепанного, глотавшего смех над чугунком с пшенкой. Была ведь у него и жена – серьезная стриженая девушка, которую привел он просто, без всякой свадьбы и гармошки, и товарищи допоздна уже не сидели, а сидели Николай с женой вдвоем за книжками. Потом пошли у них дети – малыши, двое или трое, друг за другом, как по старому укладу. Люлька да кормежка за занавеской, купание в корыте всех по очереди. Хорошее время, последнее это было хорошее время, когда жили все вместе, весело и шумно, хоть и страшно, и скудно. Потом жена Николая с ребятишками отправилась к нему в Москву, где вроде бы уже была и комната, и паек. И не так голодно. Не доехали, пропали. Никаких писем и вестей, будто не было опять никого. А спустя несколько месяцев, зимой, приехал человек неприятный, наголо бритый, но густобровый и большеголовый, как урод из сказки – напугал. Привез вещи – растрескавшийся планшет из сухой грубой кожи на длинном ремне и кожаное пальто на дорогой шерстяной подкладке. Арестовали. Мать испугалась, как же так – вещи. В чём же увели-то его зимой? Холодно без пальто. Можно ли передать чего-нибудь, сейчас посылку соберу. Урод кивал, не глядя матери в лицо, покачивался на лавке за столом. Понятно было всем в комнате, что нет Николая на этом свете, помер, погиб. И страшный человек, который сам только что рассказывал об аресте, все поправлялся, все оговаривался: ходил – ходит, бывает – был. Как о живом уже не говорил о Николае. Не сам ли этот порешил его, а вещи с мертвого раздел да привез? Запомнились Алексею Ивановичу дрожащие руки матери, как она подавала на стол капусту, несколько картошек в большом блюде, которое как будто было этим картошкам велико. И все не могла сесть, суетилась, переставляла посуду на столе, двигала узел с вещами на полу у грязных сапог гостя. Тогда ночью она и спрятала Богородицу окончательно. Перебрали вещи, двигали шкафы и неподъемный дубовый сундук. Угол, всегда отгороженный, в большой спальне разобрали. Прибили икону на заднюю стенку шкафа и задвинули все обратно, и сбоку мать ещё велела приставить досочку, чтобы в глаза не бросалась щель у стенки. С тех пор она и не молилась почти, как раньше, а подолгу стояла перед шкафом, будто решая, что надеть, а сама пришептывала, почти не разжимая губ: «Господи, Господи, помилуй. Помилуй нас грешных…»

Они явились, наконец-то, две родственницы. Вероятно, мифическая благодетельница Фаина Матвеевна действительно знала телефоны и их вызвонила. Очень похожие – полные обе, простенько и дешево одетые, с крашенными кудряшками над выпуклыми лбами и выщипанными в ниточку бровями. Если присмотреться, заметно было, что это мать и дочь. Обе с объемными потертыми сумками, и обе плакали. Та, что постарше – сильнее. Всхлипывала и сморкалась в платочек. Им же вытирала поплывшие черной тушью глаза. Оказалось – поссорились. Горбунов их прогнал.

– Вы бы слышали, доктор, как ругался! Уходите, говорит, я вас не знаю, – всхлипывала старшая.

– Кричит, – вторила младшая, – не знает он, да он не помнит ничего уже, лет-то! Дома, говорит, останусь! Да вы бы видели, что это за дом! Дверь открыта. Грязь, все перемешано, вода еле течет, холодная.

– Да он и не моется.

– Окна все в мухах, на столе засыпано крошками, завалено. И, наверное, мыши.

– Про мышей он ничего не говорил, – Таня пробовала улыбаться, быть вежливой. Куда-то ведь надо было Горбунова девать после выписки. Кто-то его должен был забрать. Но теперь уже казалось – только не эти. В дом престарелых он не захотел. Категорически отказался.

– Помру, говорит, у себя дома. И скоро, говорит, только отстаньте, не трогайте. Представляете, доктор?

– Мы столько лет на очереди, анализы разные. Это такие трудности преодолеть, дождаться, чтобы теперь на попятную! Сколько инстанций обошли, документов собрали.

– Флюорография.

– Там ещё прививки нужны, а где ж их взять? Он в поликлинике-то ни разу не был. Участковая вошла в положение, сделали. Думаете, это всё бесплатно?

– Там хорошее место, воздух, мы съездили. Телевизор. Няня выводит на территорию. Есть врач, вы же ему выпишете таблетки, наверное? Питание. Что он там ест-то у себя, ведь у чужих людей одалживается!

– Мы как раз были во время обеда, все посмотрели. Суп давали, макароны с подливой, кисель. Булки с изюмом. Разве бы мы стали Алексея Ивановича в плохое место. Зачем нам?

– Да, доктор, вы не подумайте, он нам никто, и домишко его не приватизированный. Сломают и, слава богу, забудут. Но жалко, понимаете, живой человек.

– Я понимаю, – Таня понимала, и ещё понимала, как невозможны для её пациента эти булки и кисель в «богадельне», как он сам посетовал Тане утром следующего дня.

– Они добрые, хорошие женщины. Я, правда, их совершенно не помню и не знаю, но вроде когда-то приходили, зовут меня по имени-отчеству. Принесли чего-то, морсу, что ли? Печений. Но в богадельню к старухам я не поеду!

Он опять выпрямился в постели, подобрался. Сидит хорошо и крепко, не качаясь. Бегающие блеклые глаза смотрят прямо на Таню. Она уверена, что он её видит, кажется, что видит четко и подробно. И стыдно, потому что минуту назад она пыталась тоже его уговорить, что надо быть с людьми, надо быть поблизости от медицинской помощи.

– Зачем же? Вы думаете, что я могу поправиться от своего возраста?

– Ну вот что, Алексей Иванович, поправиться нельзя, конечно, но вы и не так больны, так что давайте-ка встанем.

– Встанем… – он взволнован, покраснели только что бледные щеки, –
что ж… давайте встанем.

Каждый день теперь они обходят по палате целый круг, сначала с помощью Юры, потом вдвоем. Таня держит Горбунова под руку. Он идет осторожно, но с каждым днем все тверже и увереннее. Хватается за спинки кроватей, сам встает. Иногда, придя на обход, она застает старика уже стоящим у койки. Расположение предметов в палате он быстро выучил, конечный пункт ежедневного путешествия – кровать прооперированного Чугунова-Маугли, которому пока нельзя вставать. Даже Горыныч поощряет их упражнения и больше не говорит, что надо в этом возрасте «пребывать в госучреждении, если нет родственников». Его самого, видимо, эта перспектива пугает больше всего. Его собственные дети предпочитают «заложить» папашу в больницу, пока сами отдыхают за границей.

Он весь костяной, жесткий, с длиннющими руками-сучьями, торчащими из рукавов пижамы. Журавлиные ноги бултыхаются в широких брюках. Синяк на боку совсем прошел, Таня безбоязненно обнимает его рукой, хотя будет падать – вряд ли удержит. Он, хоть и худ ужасно, но выше Тани на голову и тяжелее. Шаг, шаг, отдых, покачивание в сторону – тапки велики.

– А учились где, Алексей Иванович?

– В школе учился. Раньше была гимназия, потом в школу переделали. Однокашник мой один, Леонид, не помню фамилии сейчас, замечательный стал художник, в Петербурге учился, но вернулся потом к нам, сюда. Убило его на войне, в самом конце. Я мать его встретил как-то, много позже.

– Вы дружили?

– Дружили? Да не сказать, что близко. Жили недалеко, в классе вместе садились, а так просто играть времени не было. И брат мой Николай там же учился, в той же школе, но уже взрослый, когда с комиссарами стал ходить. Мы как раз из школы, а они туда вечером. Курсы там у них были. Мы виделись тогда редко, он, вроде, сам по себе стал, совсем взрослый мужик, но брат же! Я раз к нему сунулся во дворе, а он как бы и не узнал, в компании был. Стыдно ли стало, или нельзя было ему родню показывать?

– Аккуратно, тут надо повернуть.

– Да-да, я вижу, тут окно, – он улыбается.

– Держитесь за кровать. Вот так, и поворачивайте потихоньку.

– Так, товарищи, тут у меня полотенце свежее, попрошу не хватать руками. И судно под кроватью! Куда?!

– Егорыч, а ты бы прибрал свой горшок подальше, ты ж не лежачий, –
тут же вступается за деда Юра.

– Должна санитарка прийти. Это её дело, придет полы мыть и выльет.

Таню он раздражает страшно.

– Филимонов, а вы в туалет ходите. Вам можно, мы же все обсудили – туалет и столовая тут недалеко. Залеживаться не надо. Если уж ночью плохо себя чувствуете, тогда…

– Мне было плохо ночью, вы не потрудились спросить у дежурного?

– Я потрудилась, – закипает Таня, – и обход у нас уже был, кардиограмма ваша, как и вчера, нормальная. Ходите в туалет.

– Я бы сходил, – мечтает Маугли.

– А вам сегодня ещё рано.

– Мне-та?

– А работали где, Алексей Иванович?

– Так работал я все там же, – вроде удивлен, почему она не знает, – у типографии. По-разному называли, но в последнее время переплетная мастерская там была.

Это последнее время – лет сорок назад, видимо.

– Так вход в редакцию, прямо от остановки, – каких только там не выпускали изданий, и газеты нескольких видов, еще до революции, и журналы, а мы – с торца в полуподвальчике. Нашу артельку не трогали. Переплет всем нужен – что починить, что заново сложить. И книги старые, знаете, приносили, и даже диссертации. Статьи. Научные работы. Да всё, что душе угодно. Хоть детские рисунки одной книжкой – и такое бывало. Одно время – журналы разбирали на листки, когда что-то в нескольких номерах, а потом их в одно. Бывало, что просили без заголовка.

– А вы читали?

– Читал…

– А интересное что-нибудь приносили? Старинное? Вот тут раковина, не наткнитесь боком опять, левее.

– Вижу-вижу. Я по коже хорошо работал, пока глаза были, мог и под старину. Из музея нашего бывали заказы, на реставрацию – редко, это дело сложное, ответственное. Только глаза меня подвели, рано стали глаза сдавать. А потом оборудование поставили новое, куда мне, я привык своим инструментом работать. До сих пор дома лежит, на столе...

Он замолчал, занервничал. Таня научилась угадывать это его напряжение, если кто-то забывал, что он не видит, или говорил что-то обидное. Горынычу Горбунов никогда не возражал, но всегда так вот замыкался, напряженно замолкал.

– Что, Алексей Иванович?

– Дверь-то. Меня же, когда сюда повезли, Татьяна Александровна, голубушка, дверь-то я не запер! Там теперь же, что у меня… Как же теперь…

– Не беспокойтесь, там родственницы ваши были. Прибрали, заперли. Все нормально.

– Ах, эти… Эти заперли.

– Пойдемте ещё кружок.

– А ключ?

– В нашем сейфе ключ, и деньги, и документы, все вам при выписке отдадим. Не волнуйтесь.

– При выписке…

Второй круг он проходит молча и гораздо хуже – пошатывается, спотыкается, сетует на неудобные тапки, Таня молчит. В начале третьего круга, Горбунов, наконец, успокаивается, тверже ставит ноги, ровнее дышит.

– У меня интересная вещь есть, книжная, вы знаете, Татьяна Александровна, это удивительная история…

Палата ждет историю, Горыныч что-то бухтит о сквозняке и кислом кефире, но на него не обращают внимания. Тане же кажется, что они с Горбуновым здесь одни.

– Принес очень солидный господин книгу на реставрацию. Это было году в двадцать, нет, в тридцать втором ли, где-то так. Господ, конечно, к тому времени всех повывели, но выглядел тот именно как барин. Костюм дорогой, жилет, сорочка с галстуком, ботинки. Портфель очень красивый из мягкой кожи. Я его хорошо разглядел, долго договаривались. Я тогда ещё доучивался, серьезных заказов мне не давали, но в тот момент главный наш мастер запил. И так сложилось, что запил и помер.

– Вот так всегда, – смеется Юра, кивая в сторону Аникеева, – запил и помер.

– И точно, – продолжает Горбунов,– так и было. Вы меня так не держите крепко, Татьяна Александровна, я не убегу.

– Ну а дальше-то что?

– Первый день пришел, попросил мастера. Ну, нет, ушел восвояси. На другой день смотрю – вернулся. Значит, думаю, очень надо. И точно, сговорились с ним. Срочно просил, в подарок, мол, уезжает. Заказ сделал и обещал забрать сам, адреса не дал. И все, верите ли, пропал.

– А что за книга?

– А книга чудесная с картинками, переплет был в коже, с тиснением очень искусным и вставкой из ткани. Посвящение было на форзаце – на немецком языке, я знал немного, но почерк очень красивый и неразборчивый – завитушки разные, росчерки в конце. Только посвящение –
майнер либер – моей любимой, и подпись – доктор… и фамилия. Все на немецком.

– Смотрите-ка, как мы быстро прошли этот круг, Алексей Иванович! Надо вам самому попробовать, может быть, в ходунках, или даже с палочкой. С тросточкой, а?

Ему и у заказчика показался небольшой немецкий акцент. Ботинки добротные. Он помнил как сейчас эти ботинки, и трость была с резным набалдашником из кости. Только все не удавалось рассмотреть под большой рукой господина – хотелось так его назвать, – что там такое – лошадиная голова или птичья? Книга чуть отсырела и на самом переплете заплесневела, пахла гнилой картошкой и мышами. Видимо, хранилась в погребе, но внутри все было чисто. Господин просил, во что бы то ни стало, сохранить надпись-посвящение, перетянуть, отреставрировать, но не портить и еще красиво упаковать. За неимением старших по званию, Алексей решился работать с книгой сам. И совершил чудо – просушил и очистил, перетянул, заново обрезал и склеил, воссоздал рисунок на обложке. Смастерил и конверт подарочный, как раз по размеру. Ждал. А тот заказчик не пришел. Все сроки вышли – месяц, два, не пришел. Мастера им уже дали другого, в деле он понимал мало, больше напирал на трудовую дисциплину. Бранился, отмечал опоздания. А книга лежала в ящике и прямо изводила. Показывать её, объяснять и оправдываться, что не спросил адреса и даже фамилии, не хотелось, да и боязно было. Так Алексей Иванович взял её себе. Припрятал, но хозяина искал. Да, искал, и не один месяц, а целый год.

– На рынок ходил, думал, может встречу там.

Надеялся, что важный тот заказчик объявится, разыгрывал, как будет с ним говорить, изловчится как-нибудь, чтобы с глазу на глаз. Караулил дверь, вздрагивая каждый раз, когда входил кто-нибудь, но все не те.

– Но ведь тогда пропадали люди, вы знаете?

– А что за книга была, Алексей Иванович?

– Сказки. Вильгельм Гауф. Немецкий писатель. И запомнилась мне она тем, что на обложке спереди в кожу был вделан фрагмент из расшитой ткани с узором. Цветы, птицы, крыши остроконечные, ветки деревьев. Точно как Маша моя вышивала.

На следующий год осенью шел он рынком, без надежды уже, а по обретенной привычке. Высматривал. И на вещевом развале, где торговали всё – и велосипеды, и скатерти, и шубы, утварь всяческую, – увидел он трость с костяной головой лошади вместо набалдашника. Ту самую. Продавала её старая перекупщица и воровка по мелочи, на рынке известная. Покупать добрым людям у неё ничего не стоило – попадешь в неприятности, а то и хуже. С тех пор книгу Алексей Иванович перепрятал поглубже в шкаф, под второе дно, где мать хранила паспорта и деньги, если бывали. И ждать заказчика перестал.

– Устали?

– Да уж, Татьяна Александровна, загулялись сегодня. Посижу.

– Приляжете?

– Нет-нет, посижу, ноги устали.

– Не кружится?

– Ей богу, не стоит беспокоиться.

Маугли спал, остальные ждали продолжения.

– Ну а в милицию вы не пробовали заявить? – не стерпел Горыныч. –
Так, мол, и так, человек не явился за заказом! Может быть, он уехал, не дождавшись, да мало ли? И трость эта не доказательство. Он мог сам её продать.

– Не мог!

– Да как это не мог!

– И книгу он не мог оставить, правильно, дед. Это семейная какая-нибудь, эта, реликвия. Память.

После войны, лет пятнадцать минуло с того первого раза, уже сын ходил в школу, пришла женщина. Скромная, одета бедненько, пожилая, можно сказать, старая. Но опять – такая дама с брошкой у горла. Принесла другую книгу, точно той в пару. Второй том – слово «цвай» на первом листе и без знания немецкого любой мог разобрать. Вильгельм Гауф – сказки. Те же птицы и цветы в рамке на кожаной обложке, но состояние хуже. И опять – отреставрировать. В сырости лежала, та же плесень, запах, и хуже всего – крысы потрудились. Женщина оформила все, как положено. Тогда Алексей Иванович был за главного, сам всё записал, сам работал. Фамилия женщины не запомнилась, самая обычная, а адрес – Кулибина, 8. Без квартиры. Рядышком с домом, ходьбы минут десять. Начал потихоньку, взялся за дело, отпарил старый клей, страницы снизу пришлось сильно подрезать из-за крыс. А женщина ходила, смотрела, спрашивала, так за разговором он и признался, что есть у него первый, «айнц», том. Сохранился. Это известие на неё произвело просто невероятное впечатление. Чуть не в обморок она повалилась, напугала, плакала и норовила на колени встать. Это, говорит, память последняя об отце, книга очень старинная, видите, тут год 1884? Он ещё тогда был ребенком, а сказки подарены были его отцом беременной жене. Она, стало быть, внучка, единственная осталась наследница. Хотелось спросить про трость, но неловко было, боялся, что снова закричит, заплачет. Она любые деньги обещала и за первую книгу, и за вторую. Насилу он её поднял, усадил и отпоил чаем. Сошлись в цене и сроках, Алексей Иванович был даже рад, наконец-то книга вернется по справедливости к тому, для кого написаны были слова «майнер либер». И тоже не пришла. Сговорились через два дня, он вытащил первый том, полюбовался на красоту узора, да и на свою работу тоже. Запаковал так, чтобы никто не догадался, а она не явилась. И дома восьмого по Кулибина не было, только шестой и сразу десятый, а в адресном столе не было её имени.

– Так вот они у меня с тех пор. И не помню уже, где спрятаны. Любе не дал в свое время продать, хотя бедовали. А может, она не послушала… Но где-то они лежат, я уверен, ждут хозяина. Хотя что? Я же не вижу. Мало ли у меня людей прошло. Может, забрал кто? Те уборщицы из собеса могли порыться без моего ведома. Я, бывает, дремлю днем. Дверь моя – ерунда, кого она остановит…

– Да что вы такое говорите! Разве же там воры работают? Что у вас за фантазии такие? Вы вообще, сдается мне, неадекватно к нашему государству относитесь, а ведь пожилой человек!

– Как знать. Бывало, что и не вор, а соблазн велик. И я взял когда-то…

Юра, кажется, к Горбунову привязался по-настоящему, возит его в туалет на сидячей каталке, «выгуливает» по всему коридору. Вывез даже на улицу, во двор на лифте. «На природу». «Природа» была наполнена бензиновым духом гаража и табачным дымом – конечно, Юра привез его в курилку – ветхую деревянную беседку в больничном дворе, заплеванную, пропитанную табаком, с привинченной по центру урной, наполненной на треть водой, во избежание пожара.

– А ты, дед, не куришь?

Он задумался. Курил, конечно, на войне. Было, потом как-то прошло. И Люба курила папиросы одно время, тогда же. Они были в пайке.

– На-ка вот, подыми…

Чем ближе выписка, тем больше Горбунов нервничает. И Таня нервничает. Алексей Иванович тренируется, шаг, поворот, еще шаг. Палату он выучил прилично, уверенно сам доходит до окна, открывает дверь и даже выходит в коридор до сестринского поста – недалеко, хотя туалет ещё недостижим. Два раза заглядывала Евгения Сергеевна. Приводила невропатолога, ещё снимали кардиограмму. Брали кровь. Все хорошо. И отлично, считает заведующая, что никто за это время в палате не умер, неудобно помирать при Горбунове девятьсот десятого года рождения. Маугли идет на поправку, Горыныча вот-вот заберут. Самый тяжелый, Аникеев, и тот улучшил свои показатели.

– Я так понимаю, скоро мне домой, Татьяна Александровна? – Таня смущается, не решалась сама заговорить об этом.

– Мне бы только научиться ваш коридор проходить, хочется самому до лифта дойти, а то все Юра, благодетель мой, как с ребенком малым возится, катает меня. И ноги-то слушаются, а вот голова, бывает, шумит, будто дождь идет где-то, и кружится, если долго не ложиться.

Разговор о «богадельне» больше не поднимали, слезливые родственницы приходили ещё раз, и ещё. Помирились. Приносили творог и бульон и в один голос обещали, что вызовут такси и доставят старика по своему адресу в целости. Наготовят еды, холодильник уже включили, отмыли. Заплатили соседке, и даже вперед.

– Ну что вы, Алексей Иванович, вы у нас хоть куда. Мы вас до лифта довезем, проводим.

– Я сам должен.

– Ну хорошо, сам. Да вам теперь и танцевать можно. Станцуете со мной? Что вы умеете, Алексей Иванович? Вальс, кадриль?

Он неловко обнимает Таню за плечи, вдруг гладит по волосам, трогает короткую косичку, которую она теперь каждый день заплетает.

– Что ж, можно и кадриль…

Как раз на свадьбу Константина были танцы, плясали во дворе под гармонь и балалайку. Жених во главе стола переживал – не то, не так! Ему бы дали, самому. А гостям все было весело и складно. Площадку перед крыльцом специально накануне вычистили и вымели, заперли кур-безобразниц, которые норовили вечно забраться на крыльцо и в палисадник, и даже на подоконник взлетали. Дети ели угощение на кухне, потом высыпали во двор, но Маша не могла, поэтому они с Алешей остались в комнате и на танцы смотрели из окна. Отплясывали, кто во что горазд, братья и приятели, взрослая родня не отставала. Кружились соседские барышни и сестры невесты. Вдруг встала мать и отец за ней, вышли в круг и пошли под руку, да так, что все расступились. Мать румяная, в новом платье с оборкой по подолу, в синем платке с кистями на плечах. Чуть пьяная, веселая, но с припухшими от слез глазами. И отец улыбался, вел её легко, просто, обнимая крепко, но ласково рукой за талию. Так бы и отпечатать их где-то в памяти, чтобы можно было по первому требованию вытащить: вот они, родители мои – отец, мама. Веселая, красивая, живая.

Самое страшное, он её не помнил. И не знал, какой она была молодою. Застал уже усталой и пожилой, а позже старой, измученной горем, уходом детей, нуждой. Он не мог вспомнить теперь ни её болезни, ни смерти. Пытался тут, в больнице, когда просыпался среди густейшего ночного мрака, обрести снова её родное, любимейшее из всех лиц. Но не вспоминалось, стерлось и расплылось, и даже во сне он не мог увидеть его подробно. Немолодое, с широкими скулами, высокий лоб в морщинах, глубоко запавшие глаза. Мутный размытый слезами образ-лик. Один раз только он проснулся вдруг с ощущением счастья, глубокого, детского. Тепла и покоя. Будто он снова за занавеской в том старом углу с люлькою, от которой остался теперь крюк, намертво вделанный в крепкую балку. Он уже большой мальчик, но мать все ещё кормит его грудью перед сном. Он только встал с горшка, который теперь сдвинут в сторону, мама готовит его, обмывает в тазике, обтирает. «Давай, Алешенька, ручки подними, вот так, рубашку-то замызгал всю. Где же это ты бегал, сыночек? Какие дела-то поделывал, а?» Голос у матери напевный, будто она поет уже ему колыбельную, баюкает, сейчас возьмет на руки. Теплые, теплые её руки, теплая рубашка на груди, сейчас она распустит завязки, устроит его удобно, большого, ножки свесятся. Алеша сонный совсем, вялый, усталый за длинный день беготни и игр, сытый, но в ожидании этого последнего счастливейшего перед засыпанием мига, ещё крепится, не дает закрыться глазам, вдыхает эту жаркую, сладкую, склонившуюся над ним радость. Заглядывает вдруг отец за занавеску, гудит густым голосом, грохает сапогами.

«Куда, Иван Тимофеич, тут все у нас расставлено, горшок-то не задень! Погоди же, мы поедим. Разуйся пока».

Отец слушается её, а как же! Разувается поспешно, ставит свои гремучие сапожищи осторожно где-то снаружи. Настроение у него хорошее, игривое, день удачный, он подходит ближе, тоже наклоняется к Алеше, положив матери руку на плечо, поглаживает. Его борода и усы густо пахнут табаком:

«Это в кого же он у тебя, Дашка, рыжий такой. А?»

«А он не рыжий, Иван Тимофеич. Он золотой. Ну, засыпай, Алеша. Люли-люли-люленьки, полетели гуленьки, сели рядом у ворот, где Алеша живет. А-а...»

Год спустя на Танином дежурстве умер бомж в алкогольной коме. Не старый, но страхолюдный, с гангреной стопы и неизвестной бутылкой в кармане. «Отравление суррогатами алкоголя». Отправляли труп на судебную медицину утром следующего дня. Таня торопилась поскорее все оформить, склеить историю. Тюбик клея на посту в приемнике закончился, наверх к себе подниматься Тане было некогда. Она обшарила все ящики двух сестринских столов, набитые бумагами, пачками из-под сигарет, забытыми стетоскопами, подписанными и бесхозными, старыми телефонными книжками, карандашиками, стертыми до размеров мизинца, ручками без стержней и так далее. Нашелся и клей под засохшей крышкой, а в самом дальнем углу нижнего ящика, где Таня обнаружила «ПВА», лежали ножницы. Тонкие острые лезвия, потемневшие от времени. Изящные колечки под тонкую руку, украшенные завитушками-капельками по внутреннему контуру. На одном из колечек снаружи закругленная и отшлифованная рогулька – для удобства пальцев. Такой же узор окружал болтик, скрепляющий ножки. Ножнички удобно и ловко легли в ладонь, будто были сделаны специально для Тани. Так хорошо ими было стричь ногти, подпарывать плотную машинную строчку, обрезать хвостик нитки после штопки. Выпавшие из кармана ветхого пиджака тут, в приемнике, брошенные в ящик, умышленно ли, или просто – чтоб не валялись. Потерянные ножницы старика Горбунова.

– Вы знаете, Татьяна Александровна, мама часто шила по ночам. Я помню этот стук машины, как состав по рельсам. Или штопала, она могла очень аккуратно зашить, незаметно. Раньше мы хорошо жили, крепко. Но бывало, что приходилось на заказ шить, зарабатывать. Она могла и рубахи, платья, и пальто. А соседкам всегда за так помогала кроить. И все ночью, днем-то и так хватало работы. Я проснусь, бывало: мама, мама, это что? Она лампу занавешивала, чтобы нам не мешать, маленьким. Иногда такие казались тени, страшные, и знал, что это она там, за занавеской шьет, а боязно…

«Это я, я, Алешенька, спи.

Люли-люли-люленьки,

Серенькие гуленьки…

Ты мой родной… ты мой золотой…»

Ножницы Таня взяла себе.